

5. *Davis N. Z.* Anthropology and the History in the 1980s // *Journal of Interdisciplinary History*. 1981. V. 12. P. 267—275.
6. *Burke P.* The Historical Anthropology of Early Modern Italy. Essays on perception and communication. Cambridge, 1987.
7. Science and Cultures. Anthropological and Historical Studies of Science. Dordrecht, 1981.
8. *Traweek Sh.* Beamtimes and Lifetimes. The World of High-Energy Physicists. Cambridge, Mass. and London, 1988.
9. *Abir-Am P.* A historical ethnography of a scientific anniversary in molecular biology: the first protein X-ray photograph (1984, 1934) // *Social Epistemology*. 1992. V. 6. № 4. P. 323—355.
10. *Shapin S., Schaffer S.* Leviathan and The Air-Pump. Princeton, 1985.
11. *Shapin S.* The House of Experiment in Seventeenth-Century England // *Isis*. 1988. V. 79. P. 373—404.
12. *Biagioli M.* Galileo Courtier. Chicago, 1993.
13. *Kohler R. E.* Drosophila and Evolutionary Genetics: The Moral Economy of Scientific Practice // *History of Science*. 1991. V. 29. P. 335—375.
14. *Bourdieu P.* The Logic of Practice. Stanford, 1990.
15. *Эйхенбаум Б. М.* Литературный быт // *Эйхенбаум Б. М. О литературе. Работы разных лет*. М., 1987.
16. *Тынянов Ю. Н.* Поэтика. История литературы. Кино. М., 1977.
17. *Adams M. B.* Science, Ideology and Structure: The Koltsov Institute, 1900—1970 // *Lubrano L., Solomon S., eds. The Social Context of Soviet Science*. Boulder, 1980. P. 173—204.
18. *Adams M. B. Sergei Chetverikov, the Koltsov Institute, and the Evolutionary Synthesis* // *Mayr E., Provine W., eds. The Evolutionary Synthesis*. Cambridge, 1980. P. 242—278.
19. *Бабков В. В.* Московская школа эволюционной генетики. М., 1985.
20. *Артемов Н. М., Калинина Т. Е.* Сергей Сергеевич Четвериков. М., 1994.
21. *Четвериков С. С.* Проблемы общей биологии и генетики (воспоминания, статьи, лекции) Новосибирск, 1983.
22. *Goldschmidt R. B.* Portraits from Memory. Recollection of a Zoologist. Seattle, 1956.
23. *Бабков В. В. Н. К. Кольцов: борьба за автономию науки и поиски поддержки власти* // *ВИЕТ*. 1989. № 3. С. 3—19.
24. *Biagioli M.* Galileo's System of Patronage // *History of Science*. 1990. V. 28. P. 1—62.
25. *Biagioli M.* Galileo the Emblem Maker // *Isis*. 1990. V. 81. P. 230—258.
26. *Moran B.* German Prince-Practitioners: Aspects in the Development of Courtly Science, Technology and Procedures in the Renaissance // *Technology and Culture*. 1981. V. 22. P. 253—274.
27. *Alter P.* The Reluctant Patron. Science and the State in Britain, 1850—1920. Oxford, 1987.
28. *Копелевич Ю. Х.* Возникновение научных академий: середина XVII — середина XVIII в. Л., 1974.
29. *Ольденбург Е. Г.* Из дневниковых записей (1925—1930) // *Вестник РАН*. 1994. Т. 64. № 7. С. 638—647.
30. *Синская Е. Н.* Воспоминания о Н. И. Вавилове. Киев, 1991.
31. *Левина Е. С.* Трагедия Н. И. Вавилова // *Репрессированная наука*. Л., 1991. С. 223—239.
32. *Science as Practice and Culture*. Chicago, 1992.
33. *Штильмарк Ф. Р.* Страницы ненаписанного романа (жизнь и деятельность зоолога Вадима Раевского) // *Югра*. 1993. № 9. С. 17—22. № 10. С. 15—21.
34. *Struchkov A. Yu.* Nature Protection as a Moral Duty: The Ethical Trend in the Russian Conservation Movement // *Journal of the History of Biology*. 1992. V. 25. P. 413—428.
35. *Александров Д. А.* Натуралист Набоков // *ВИЕТ*. 1988. № 2. С. 119—123.

ДЖ. РОУЗ (США)

ЧТО ТАКОЕ КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ НАУЧНОГО ЗНАНИЯ?*

Настоящая статья имела своим началом лекцию, которую я был приглашен прочесть в Центре критического анализа современной культуры Университета Ратгерс (штат Нью-Джерси) в октябре 1991 г.; название ее было — «Являются ли культурологические исследования научного знания враждебными науке?». Последующей работе над статьей помогла стипендия, предоставленная Программой по исследованиям в области истории и философии науки Национального Фонда Науки США, о чем я с благодарностью здесь упоминаю.

За последние два десятилетия междисциплинарные исследования естественных наук были радикально трансформированы социологией научного знания. Социологические взгляды, развитые в рамках эдинбургской «сильной программы»**, батского конструктивистско-релятивистского подхода***, дискурс-анализа науки, а также этнографических исследований научных лабораторий, поставили под вопрос самые основания постпозитивистской междисциплинарной системы «истории и философии науки». Многие аспекты научной деятельности, высвеченные этими социологическими традициями, оказались столь существенны, что ни одна из последующих интерпретаций науки не могла обойти их. Так, эти «социал-конструктивистские» исследования привлекли свежее внимание к эпистемической значимости лабораторных практик и оборудования, к присутствию элементов конфликта и переговоров на всех этапах оформления результатов научной работы, к процессам формирования и размывания дисциплинарных границ, а также к практической проницаемости любой «мембраны», отделяющей область «внутренних факторов» науки. Кроме того, конструктивистские исследования эффектно оттенили элементарную трудность делания науки: обеспечения надеж-

* Перевод статьи: Joseph Rouse. What Are Cultural Studies of Scientific Knowledge? // Configurations. 1993. Vol. 1. № 1. P. 1—22. Редакция выражает благодарность издательству The Johns Hopkins University Press, Обществу The Society for Literature and Science и журналу Configurations за предоставление разрешения на перевод и публикацию статьи.

** «Сильная программа» (Strong Programme) — одна из наиболее известных исследовательских программ в области социологии научного знания, сформулированная Дэвидом Блуором (David Bloor). Ее основные методологические принципы таковы: (1) социологи науки должны, подобно ученым-естественникам, стремиться к каузальным объяснениям; (2) они должны быть беспристрастными к истинности или ложности утверждений о знании, т. е. исследовать научные заблуждения наряду с научными истинами; (3) их объяснения науки должны быть симметричными — т. е. они должны объяснять социологически не только те представления, которые принято считать научными заблуждениями, но и те представления, которые принято считать истинными в науке; (4) социологи науки должны придерживаться принципа рефлексивности — т. е. отдавать себе отчет в том, что их собственные представления также могут быть объяснены социальными факторами. Блуор рассматривал свою программу как способ, посредством которого наука может научным образом познать себя (см. Bloor D. Knowledge and Social Imagery. L., 1976). «Сильная программа» Блуора часто называется «эдинбургской» по причине того, что в 1970-х — начале 1980-х гг. в Эдинбургском университете «под ее знаменами» работали такие известные исследователи науки, как Барри Барнс (Barry Barnes), Дэвид Эдж (David Edge), Дональд Маккензи (Donald MacKenzie), Стивен Шейпин (Steven Shapin) и Эндрю Пикеринг (Andrew Pickering). — Прим. перев.

*** «Батский конструктивистско-релятивистский подход» (the Bath constructivist-relativist approach), также известный как «эмпирическая программа релятивизма», — еще одна влиятельная исследовательская программа в социологии науки, сформулированная Гарри Коллинзом (Harry Collins) из Батского университета (см., например, его статью: Collins H. An Empirical Relativist Programme in the Sociology of Scientific Knowledge // Science Observed: Perspectives on the Social Study of Science / Ed. by K. D. Knorr-Cetina and M. J. Mulcahy. L., 1983.). Работа в рамках этого подхода включает три основных этапа: (1) демонстрацию интерпретационной пластичности (interpretative flexibility) научных фактов и теорий; (2) установление механизмов закрытия прений (closure mechanisms) о возможных интерпретациях фактов и теорий; (3) выяснение того, каким образом эти механизмы формируются более широкими социальными процессами. — Прим. перев.

ности оборудования и проведения экспериментов, достижения повторяемости результатов и признания их успешности и значимости.

При всей важности социал-конструктивизма, однако, значительная часть последующих работ по исследованию науки не вполне вписывается в категориальные рамки, заданные разногласиями между социал-конструктивистами и сторонниками интерналистской истории и философии науки. Среди центральных предметов спора между социал-конструктивистами и интерналистами были вопросы об относительной значимости социальных и рациональных (или внешних и внутренних) «факторов» для объяснения содержания научного знания, об отношениях между эмпирическими описаниями и эпистемическими оценками методов и достижений научного исследования, и о связности либо реалистских, либо релятивистско-конструктивистских представлений о том, как научное знание соотносится с миром. Однако новые работы в различных областях исследований науки все в большей мере ставят под вопрос само содержание этих споров. Они подвергают сомнению саму цель объяснения научного знания, принятые модусы истолкования «содержания» знания, предполагаемую оппозицию между дескриптивными и нормативными подходами и интеллигибельность вопроса, на который отвечают реалистские или конструктивистские интерпретации знания.

В этой статье я попытаюсь сформулировать и проиллюстрировать примерами ряд важных пунктов, характеризующих течение, вышедшее за рамки полемики между интерналистами и социал-конструктивистами. Я полагаю удобным использовать выражение «культурологические исследования научного знания» для характеристики этого весьма пестрого течения, проявляющегося в таких областях, как история, философия, социология, антропология, феминистская теория и литературная критика. Употребляя эту формулировку, необходимо иметь в виду, что она вбирает в себя ряд весьма существенных теоретических различий, охватывая массив значимых работ, лежащих за теми самыми границами, которые я провожу между культурологическими исследованиями и социал-конструктивистской традицией. Моя цель состоит не в том, чтобы превратить культурологические исследования в некий «монолит», но в том, чтобы высветить некоторые важные вопросы, которые могут изменить конфигурацию междисциплинарных исследований науки.

Итак, что же такое «культурологические исследования научного знания»? Я употребляю эту формулировку в широком плане для обозначения разнообразных работ, имеющих своим предметом те практики, посредством которых научное знание оформляется и утверждается в специфических культурных контекстах, а также претворяется в новые контексты и распространяется в них. При этом я сознательно обращаюсь к понятию «культуры», выбрав его как за присущую ему неоднородность (наряду с «материальной культурой» оно может включать в себя общественные обычаи, лингвистические традиции, а также композицию индивидуальностей, общностей и уз солидарности), так и за подразумеваемые им смысловые структуры или поля. «Перечисляющее описание» может оказаться удобным способом как-то специфицировать эту все еще весьма пространную формулировку, по крайней мере, для тех, кто знаком с литературой в области исследований науки. К числу людей, занимающихся культурологическими исследованиями науки, я бы отнес таких непохожих друг на друга историков, как Донна Харауэй (*Donna Haraway*), Роберт Марк Фридман (*Robert Marc Friedman*), Саймон Шеффер (*Simon Schaffer*), Эвелин Фокс Келлер (*Evelyn Fox Keller*), Роберт Проктор (*Robert Proctor*) и В. Б. Смоковитис (*V. B. Smocovitis*); таких социологов и антропологов, как Шарон Травек (*Sharon Traweek*), Бруно Латур (*Bruno Latour*), Паула Трайклер (*Paula Treichler*), Ли Стар (*Leigh Star*), Майкл Линч (*Michael Lynch*) и Карин Кнорр-Цетина (*Karin Knorr-Cetina*); таких философов, как Ян Хакинг (*Ian Hacking*), Хелен Лонгино (*Helen Longino*), Артур Файн (*Arthur Fine*), Сандра Хардинг (*Sandra Harding*) и я сам; и таких ли-

тературоведов, как Джиллиан Бир (*Gillian Beer*) и Людмила Жорданова (*Ludmilla Jordanova*).

Каждый, кто знаком с работой перечисленных исследователей, знает, что этот список весьма далек от того, чтобы представлять монолитную группу: здесь имеют место острые и далеко идущие теоретические, методологические и политические расхождения. Вместе с тем существуют соображения как исторического, так и философского порядка, позволившие существенным образом ограничить этот список и придающие ему определенную связность. Я начну с нескольких исторических заметок, которые позволят контекстуализировать различия между культурологическими исследованиями, как я понимаю их, и теми социологическими и философскими традициями, ответом на которые они выступают. Следует подчеркнуть, что эти заметки не являются даже эскизом истории культурологических исследований, представляя не более чем отдельные, по возможности показательные, фрагменты. В рамках заданного мною контекста я затем проведу более систематическое обсуждение того, что я считаю наиболее существенными теоретическими «вехами», отграничивающими культурологические исследования науки в качестве важной и самобытной области.

Контекстуализация культурологических исследований научного знания

Моя первая историческая заметка без обиняков указывает на то, что культурологические исследования науки в определенном смысле находятся в долгу у социал-конструктивистской традиции. А именно, культурологические исследования следуют примеру «сильной программы» и ее социологических преемников, отказываясь от постулата о необходимости специфических методов или категорий для понимания научного знания как чего-то, отличного от прочих культурных образований. Более ранняя социология знания Карла Манхейма откровенно *изымала* естественные науки и математику из своего кругозора [1]. Точно так же и традиция, основанная Робертом Мертоном, — которая по сей день заметно доминирует в американской социологии науки, — постулировала исключительность научного знания: она, действительно, обращалась к анализу естественных наук, однако подчеркивая при этом, что проводимые в ее рамках исследования научных учреждений и норм, вообще говоря, считают содержание успешной научной работы само собой разумеющимся (см., например: [2]). Мертонианцев интересовало, каким образом может осуществляться институциональное и культурное воплощение этой работы, и как могут быть надлежащим образом объяснены отклонения от признанных в науке норм и методов. Изрядная доля философии науки (и кое-какие исторические работы) подобным же образом основывались на разграничениях между воображением, аргументацией и доказательством, составляющими «внутреннее устройство» научного знания, и биографическими и социальными факторами, которые по крайней мере теоретически могут быть изъяты из сферы эпистемологической рефлексии.

В противоположность этому культурологические исследования научного знания избирают предметом своего анализа пути сообщения между «фабрикой знания» и теми культурными обычаями и институтами, которые философы науки зачастую рассматривали в качестве факторов, «внешних» по отношению к знанию. Культурологические исследования подходят к научному знанию как к одному из культурных образований, понимание которого должно основываться на детальном изучении ресурсов, используемых для его артикуляции, ситуаций, вызывающих его отклик, а также того, как оно трансформирует эти ситуации и воздействует на другие. Как я буду доказывать в последующих разделах, культурологические исследования не стремятся к тому, чтобы вытеснить интерналистские трактовки знания, прибегнув к какому-либо привилегированному альтернативному модусу интерпретации (например, к социальным факторам), но вме-

сте с тем и не признают эпистемической автономности того, что сегодня принято считать научным знанием.

Следующая заметка, имеющая более специфичную историческую привязку, может помочь зафиксировать некоторые любопытные различия между социал-конструктивизмом и культурологическими исследованиями науки. Как в Соединенных Штатах, так и в Великобритании, вопросы культуры и политики научного познания попали в разряд приоритетов государственной политики во время Второй мировой войны и после ее окончания, когда государство стало более активно участвовать в поддержке научных исследований и управлении ими. В общих чертах эти вопросы касались выбора наилучшей системы организации, поддержки и ориентирования научных исследований в условиях демократической политической культуры. В Великобритании кристаллограф Дж. Д. Бернал выступил за сознательное политическое руководство наукой ради общественно-полезных целей (см. [3, 4]; содержательное обсуждение взглядов Бернала приводится в [5]). Преданный идеям социализма, Бернал утверждал, что капиталистическое общество не в состоянии развивать и использовать научное знание эффективно и гуманно. Он подчеркивал, что научные исследования представляют собой общественный продукт человеческого труда, который требует значительных ресурсов и является потенциальным источником великих благ, но вместе с тем может создавать и новые возможности для угнетения. Поэтому нужна трансформация общества, которая обеспечила бы процветание в нем человеческой науки, — причем эту трансформацию, по мнению Бернала, потенциально предусматривают и цели самой науки: «наука предполагает объединенный и согласованный, а самое главное — сознательный, контроль всей общественной жизни» [3, с. 409].

«Бернализм» встретил яркую оппозицию в лице физико-химика Майкла Полани (*Michael Polanyi*) [6]. Эпистемология Полани подчеркивала важную роль практических навыков и невербальной коммуникации в том, что он называл «личностным знанием», из которого, собственно, и складывается научная деятельность. Но у его позиции были к тому же существенные и консервативные политические следствия: так, она подразумевала, что науку невозможно сориентировать на социальные цели, не подрывая при этом ее авторитет как инструмента познания. Более того, поскольку основу научного знания составляет нечто, не могущее быть сформулированным, то никто, кроме самих практикующих ученых, не в состоянии понять, как наилучшим образом развивать науку. Согласно точке зрения Полани, не было никакой альтернативы неограниченной свободе научного исследования и административному контролю над научными ресурсами со стороны научной элиты.

Социал-конструктивистская традиция заняла амбивалентную позицию по отношению к конфликтующим взглядам Бернала и Полани. Конструктивисты приняли предложенную Берналом интерпретацию научной деятельности, подчеркивая, что исследование является процессом общественного производства и общественной же аттестации, который поэтому надлежит истолковывать в социальных категориях. Однако описания научной деятельности, созданные ими исходя из этого «берналистского» тезиса, глубочайшим образом обязаны взглядам Полани. Нарисованный Полани образ научного знания как имеющего специфически местный характер, не выражаемого словами *no-cha*, непосредственно повлиял как на релятивистские, так и на этнографические исследования научных лабораторий (работы Гарри Коллинза, Тревора Пинча (*Trevor Pinch*), Бруно Латтура и Стива Вулгара (*Steve Woolgar*), Карин Кнорр-Цетины), ставшие важным компонентом конструктивистской традиции. Более того, несмотря на иногда

свойственную им антисциентистскую риторику, конструктивисты в большинстве своем разделили антинормативную точку зрения Полани, исключающую возможность критики научных практик и убеждений*. Изначально конструктивисты исключают критику научных практик как будто бы на иных основаниях, чем Полани: они привержены далеко идущему эпистемическому релятивизму, а вовсе не элитистской защите неоспоримого авторитета научных сообществ. На деле, однако, эти две позиции сходятся в своей защите группового авторитета. К примеру, конструктивисты Гарри Коллинз и Стивен Йерли (*Steven Yearley*) выдвигают следующее «поланистское» возражение против предложенного Мишелем Каллоном (*Michel Callon*) заключения о судьбе французской исследовательской программы по разведению морского гребешка: «Существует только один известный нам способ оценить сложность (поведения) гребешка, и он заключается в проведении соответствующего научного исследования. Если нам действительно следует включить поведение гребешка в наши объяснительные схемы, то Каллон должен удостоверить свой профессионализм в области естественных наук» [8, с. 316].

В отличие от социал-конструктивистов, которых, стало быть, привлекают обе стороны конфликта «Бернал—Полани», для представителей культурологического направления характерно то, что их не притягивает ни к одному из этих «полюсов». Постструктурализм, оказывающий влияние на значительную часть культурологических исследований науки, не родствен вдохновлявшему Бернала гуманизму марксистского толка: представления об общечеловеческом интересе и единой для всех программ обретения свободы посредством общественного присвоения продуктов труда, из которых исходил Бернал, не соотносятся с присущим культурологическому направлению вниманием к различиям и многообразию спорящих друг с другом смыслов и индивидуальностей. Впрочем, представление Полани о самоуправляющейся научной элите оказывается еще менее привлекательным. Вместо того, чтобы санкционировать или релятивизировать разного рода сообщества ученых, культурологические исследования ставят под вопрос границы этих сообществ и властные структуры, складывающиеся благодаря демаркации и контролированию этих границ**. Такая позиция необходимо влечет за собой совершенно особую эпистемическую политику, далекую и от представлений Полани о научной олигархии, и от конструктивистских представлений о плюрализме эпистемических сообществ.

Для эпистемической политики культурологических исследований неприемлемо, чтобы научное сообщество высказывалось единым властным голосом; однако для нее не представляется возможным и «колонизировать» науку именем какой-то привилегированной терминологии, налагаемой на науку с позиции эпистемического суверенитета***. Соответственно, в своей заключительной исторической заметке я хочу отметить тот долг, который культурологические исследования науки имеют по отношению к происходящей в течение последнего полувека политической критике науки изнутри научного сообщества. Современные культурологические исследования науки многим обязаны политической амбивалентности в среде физиков, приведшей к появлению «Бюллетеня ученых-атомщиков» (*Bulletin of the Atomic Scientists*), и более широкомасштабной оппозиции ученых к военизированным научным изысканиям (особенно заметной во время Вьетнам-

* Хорошее обсуждение преемственности между антинормативным взглядом на науку Майкла Полани и социал-конструктивистской традицией дается в работе Стива Фуллера [7, с. 390—428].

** См. критическое обсуждение эпистемической значимости контролирования эпистемических границ в обстоятельной работе Шарон Трабек [9, с. 429—465] и моей статье [10, с. 353—364].

*** Роль эпистемического суверенитета в области исследований науки обсуждается в моей находящейся в печати работе [11].

ской войны); образованию таких групп, как «Наука для людей» (*Science for the People*) и «Коллектив журнала „Радикальная наука“» (*Radical Science Journal Collective*); росту движения ученых в защиту окружающей среды, с его протестами против корпоративного и государственного контроля над исследованиями пестицидов, низкоуровневой радиации и т. д.; а также спорам вокруг изучения рекомбинантной ДНК и, позже, вокруг проекта «Геном человека». Первая волна исследований под рубрикой «наука и проблема рода», с их акцентом на критике идеологизированных трактовок понятия «род» (*gender*) в биологии и психологии, была также преимущественно делом рук самих ученых-естественников, и их работа, по всей вероятности, обусловила развитие более широкомасштабного обсуждения этой рубрики в современных культурологических исследованиях (см., к примеру: [12—15]). Место культурологических исследований — не только в гуманитарных сферах академии: они причастны не только истории академически-дисциплинизированных исторических, философских и социологических интерпретаций науки, но также и истории самой науки, культуре науки и политическим баталиям вокруг научного знания.

Посредством предложенной контекстуализации культурологических исследований научного знания я стремился подчеркнуть их неразрывную связь с важными аспектами культуры науки нынешнего столетия. Однако теперь пришло время кое-что сказать и об их собственном специфическом вкладе в понимание науки и научного знания. Конечно, есть нечто искусственное в том, чтобы приписывать культурологическим исследованиям некую общую картину научной деятельности, — ведь работы этого направления разнообразны и нередко спорят между собой. Тем не менее, здесь есть существенные общие черты, которые, как бы по-разному они ни проявлялись в различных работах, указывают на важные отличия от других подходов к пониманию естественных наук. Я упомяну шесть таких черт: антиэссенциализм в отношении науки; не-объяснительный подход к научным практикам; акцентирование материальности научного знания; еще более сильное акцентирование открытости научной деятельности по отношению к остальной культуре; скорее «подрывающее», чем оппозиционное, отношение к естественнонаучному реализму и представлениям о «ценностной нейтральности» науки; а также приверженность эпистемической и политической критике изнутри культуры науки.

Неоднородность науки

Культурологические исследования научного знания отвергают представление о наличии у науки некой сущности или какой-то единой неотъемлемой цели, к которой должна стремиться всякая подлинно научная работа. Согласно сжатой формулировке философа Ричарда Рорти (*Richard Rorty*), «естествознание своего естества не имеет» [16]. Практики научного исследования, его продукты и нормы — исторически изменчивы. Кроме того, они значительно варьируют как от одной дисциплины к другой, так и в пределах одной дисциплины. Физика высоких энергий, физика низких температур, радиоастрономия, синэкология, молекулярная биология, таксономия, палеонтология и метеорология во многих отношениях представляют собой совершенно различные эпистемические практики, — причем все это далеко не самые «прикладные» области науки. Для научной деятельности характерна и культурная вариабельность внутри одной области: например, нередко имеют место значительные национальные различия в стиле, направлении, стандартах и целях научной работы. Это вовсе не означает того, что различные научные культуры замкнуты сами на себя или непостижимы друг для друга, или того, что отдельные ученые или их группы не в состоянии успешно ориентироваться в научных культурах, сопредельных их собственной. Однако это не означает и того, что эпистемически значимые различия научных

культур акkuratно накладываются на национальные, языковые, или прочие культурные границы.

Ниже я еще буду говорить о культурных различиях, однако сейчас я просто хочу подчеркнуть, что вариабельность научной деятельности касается многих ее важных аспектов. Она касается градуировки, прецизионности, технической сложности, чувствительности, теоретической удобопонятности и теоретической самостоятельности ее инструментов; размеров, местоположения, мобильности и доступности ее объектов исследования; ее социального устройства (например, величины эффективных исследовательских групп, а также степени их неоднородности в плане знания, мастерства, взаимопонимания между членами, статуса и т. д.); ее теоретической изошренности и отношений между теорией и экспериментальной или наблюдательной практикой; степени ее дистанцированности от специфических «приложений» знания; характера и значительности ее связи с другими сферами культуры; относительной важности элементов описания и объяснения; и институциональной организации исследований и коммуникации.

Нечувствительность к неоднородности естествознания — это один из важных элементов того, что, с позиции культурологических исследований, является ложным в глобальных легитимациях рациональности науки или ее справочного авторитета, — равно как и в тех версиях эпистемического релятивизма, которые приравнивают научные сообщества (и общеизвестные результаты их деятельности) к другим культурным сообществам и друг к другу. Утверждается ли то, что научное знание как таковое обладает превосходством над другими познавательными практиками, или то, что оно «ничем не лучше» их, или же то, что оно тем или иным образом менее адекватно, — во всех этих случаях ошибочно предполагается, что научное знание является *однородным*, т. е. составляет один род деятельности, неотличимый или отличающийся *по существу* от других родов. Сходные проблемы прослеживаются во всех попытках разграничить естественные науки от наук социальных или гуманитарных [17, гл. 6].

Протест против объяснения в исследованиях науки

Антиэссенциализм культурологических исследований перетекает в их вторую черту: одним из наиболее важных отличий их от социал-конструктивистской традиции является их оппозиция к установке на объяснение научного знания (или его «содержания»). Социал-конструктивизм обычно объявляет себя объяснительной социальной наукой, которая (потенциально) способна исчерпывающим образом истолковать эпистемические результаты научной деятельности. При этом предполагается, что терминология социальных взаимодействий (интересы, переговоры и т. п.) дает ключ к адекватному пониманию этой деятельности. Однако, как заметила Нэнси Картрайт (*Nancy Cartwright*) по поводу объяснения в физике, «цель [объяснительной науки] состоит в том, чтобы охватить большое разнообразие явлений небольшим числом принципов. Объяснительная сила теории проистекает из того, что она может распространить небольшое число понятных [выражений] на большое разнообразие ситуаций. Но эта объяснительная сила имеет свою цену, [и эта цена] — ограничение нашей способности к реалистическому представлению ситуаций» [18, с. 139]. Стремление к объяснению явлений на языке объяснительных понятий какой-либо теории приводит к замалчиванию различий между интерпретируемыми явлениями независимо от того, встраиваются ли эти различия в рамки альтернативных объяснительных конструкций. К примеру, социальная интерпретация содержания научной деятельности проходит мимо разнообразия способов ее присвоения и использования; культурологические же исследования вполне могут озадачиваться пластичностью того, что конструктивистские исследования принимают в качестве непроблематичного объяснения.

Существуют, однако, и два других, связанных между собой затруднения с объ-

яснительным подходом, которые, с точки зрения культурологических исследований, имеют, быть может, еще более фундаментальный характер. Во-первых, культурологические исследования возражают против свойства объяснительного подхода овещать границы между интерпретацией и тем, что он интерпретирует. Это овещение может принимать различные формы. Латур и Вулгар, к примеру, занимают (по крайней мере риторически) позицию этнографа-как-постороннего [19], в то время как Коллинз и Йерли представляют себя в качестве дисциплинарных *антагонистов* по отношению к естественным наукам: «Вот наш рецепт: основывайтесь на социальном — будьте социальными реалистами — для того, чтобы объяснить природное. Пользуясь выражением Латура, мир — это поле состязания, и другие будут основываться на природном, чтобы объяснить социальное.... [Таким образом, социология научного знания] хочет использовать науку для того, чтобы ослабить позиции естественных наук по отношению к наукам общественным» [20, с. 382—383]. Что же касается культурологических исследований, то на них повлияла та традиция в постколониальной антропологии, которая с недоверием относится к попыткам в одностороннем порядке налагать категории на Другого*. Согласно этому взгляду, даже когда антропология вернулась «в родные края», наука была превращена в Другого, и антропологи имперского склада представляют себя в качестве «побитой собаки» по отношению к признанному культурному авторитету естественных наук**.

Вторая проблема с социальными объяснениями научного знания касается овещения самих (социальных) объяснительных категорий, которое настороженно отстаивают Коллинз и Йерли в только что процитированном отрывке. Культурологические исследования фокусируют свое внимание на артикуляции и значительности смыслов и не расположены к тому, чтобы распространять категории социального объяснения за пределы их сферы действия. Это нерасположение возрастает во всех случаях, когда такие объяснения подразумевают *единство* социальных единиц или категорий, которое культурологическим исследованиям часто приходится деконструировать. Протест культурологических исследований становится все более настойчивым, учитывая широкое распространение признания того, что категории и практики социального объяснения сами принадлежат к научной традиции. Этот вопрос нередко дебатировался социал-конструктивистами как «проблема рефлексивности», хотя в их дискуссиях последняя зачастую ошибочно воспринималась как источник общего скептицизма или как риторическая проблема (в том смысле, что ее можно обособить от политической ориентации объяснительной стратегии)***. Для культурологического же направления вопросы рефлексивности — это приглашение к тому, чтобы учитывать свои собственные сложные эпистемические и политические отношения к изучаемым культурным практикам и смыслам****.

* См. обсуждение этой проблематики в [21—23].

** Коллинз и Йерли открытым текстом представляют собственный объяснительный антагонизм по отношению к естественным наукам в образе «побитой собаки, столь знакомом из романтических изображений науки» [20, с. 382].

*** Подобная интерпретация рефлексивности как варианта эпистемологического скептицизма и как *аполитического* вопроса риторики характерна для недавних работ Вулгара [24—25]. Джеймс Бомэн (*James Bohman*) признает неадекватность скептицизма, характерного для Вулгара и *некоторой части* постколониальных антропологов, однако как будто бы соглашается с ними в том, что серьезное рефлексивное внимание к собственным интерпретациям должно привести к такому скептицизму (см. [26]).

**** Прекрасным примером изучения того, как категории культурной интерпретации науки сами глубоко связаны с научными традициями, является находящаяся в печати статья Салли Хэмфрис (*Sally Humphries*) [27]. Донна Харауэй в [28] и Шарон Травек в [9] демонстрируют, как рефлексивное внимание к конструированию собственного текста открывает политическую значимость культурологического исследования науки, вовсе не будучи лишь выполнением бесполезной риторической задачи представления предполагаемой «идеологии представления». См. также работу Вулгара [24].

Локальность знания

Третья черта культурологических исследований, на которую я хочу обратить внимание, состоит в акцентировании локального, материального и дискурсивного характера научной деятельности*. Научное знание нередко описывают так, как если бы оно представляло собой массив свободно плавающих идей, могущих быть отделенными от материальных и инструментальных практик, посредством которых они укореняются и соединяются с вещами. В противоположность этому культурологические исследования (наряду с другими современными исследованиями экспериментальной практики) подчеркивают важную роль специфических комплексов инструментов и определенных материалов, а также навыков и техник, необходимых для обращения с ними, в придании знанию смысла и значимости. Они также подчеркивают специфичность систем научной коммуникации и обмена информацией, которые определяют и то, о чем следует говорить, и то, какую терминологию и технические средства можно для этого использовать.

Культурологические исследования, к примеру, делают акцент на том, как научные дисциплины могут создаваться и трансформироваться в не меньшей степени благодаря новым инструментам и объектам исследования, чем благодаря новым концепциям или теориям (хотя следует остерегаться слишком резкого разграничения этих категорий, при котором инструменты и объекты исследования представляли бы чем-то, предшествующим дискурсу). Трансформация классической цитологии в современную клеточную биологию была вызвана не столько какими-либо конкретными теоретическими инновациями, сколько использованием ультрацентрифуги и электронного микроскопа, однако последнее привело к изменению того, что считалось представляющим научный интерес вопросом о клетках и адекватным ответом на него**. Сходным образом, согласно Питеру Гэлисону (*Peter Galison*), некоторые базовые представления в физике частиц изменились вследствие использования в 1930-е гг. счетчиков: они, к примеру, фактически трансформировали «электрон» из целостности в перечислимое понятие (не давая конкретного изображения отдельных частиц) [31, гл. 2—3].

Инструменты неотъемлемо входят в локальные контексты, где действуют специфические таланты, навыки и дискурсивные практики, обеспечивающие их осмысленное использование. Философы в 1960-х и 1970-х гг. полагали, что влияние инструментов на научное знание может быть объяснено теоретической нагруженностью наблюдения, однако это предполагало, что важнейшие аспекты функционирования инструментов относятся к сфере теоретического понимания. Но на деле мы почти всегда сталкиваемся с совершенно иной ситуацией, когда источники ошибок и помех регулярно нейтрализуются хитростями практической инженерии, для чего полного теоретического понимания не требуется [32—33]. На локальность знания указывает и важность обмена наличными материалами для использования в работе или исследования (специфическими клеточными культурами, плазидами, сверхпроводящей керамикой и т. д.), которые не могут быть легко воспроизведены по описанию.

Некоторые ученые и философы могут упорствовать против этого акцентирования локальности научного знания, но они должны ясно понимать, что они при этом делают: они исключают из научного знания большую часть того, что от-

* Подробное обсуждение локальности и материальности научного знания см. в [17, гл. 4] и [10].

** См. подробные обсуждения в находящихся в печати работах Рейнбергера (*Hans-Jorg Rheinberger*) [29] и Бехтеля (*William Bechtel*) [30]. Различия между этими двумя работами сами по себе поучительны для иллюстрации развиваемой мною точки зрения, поскольку Рейнбергер интерпретирует придание знанию смысла в духе того, что я считаю характерным для культурологических исследований, в то время как в статье Бергера предпринимается интересная попытка примирения социал-конструктивизма с более традиционной историей и философией науки.

четливо знают экспериментаторы, инструменталисты и даже феноменологи, работающие в области естественных наук. Надо, однако, заметить, что тот акцент, который делают на локальности и материальности знания культурологические исследования, следует отличать от представления, что такое знание является «неявным» (*tacit knowledge*) (как утверждал Полани), либо немым (на что, возможно, намекают некоторые недавние исследования экспериментальной деятельности, которые, похоже, предлагают «материалистичное» объяснение научного знания, но не его культурную интерпретацию). В любом из этих случаев материальная практика науки оказалась бы *неартикулируемой*, а стало быть и недоступной для интерпретационных практик культурологических исследований.

Открытость науки

Четвертая из выделяемых мною характерных черт культурологических исследований — акцентирование того, что я называю открытостью научной деятельности — находится в противоречии с широко распространенным представлением, что научные сообщества довольно-таки замкнуты на себя, однородны и слабо связаны с другими социальными группировками и культурными практиками. Даже столь влиятельный и богатый содержанием предшественник культурологических исследований, как книга Томаса Куна «Структура научных революций», подчеркивает интеллектуальную и нормативную автономность и униформность научных сообществ. Социал-конструктивистская традиция зачастую следовала в этом за Куном, делая упор либо на социальных интересах, либо на социальных взаимодействиях, конституирующих убеждения, ценности и приоритеты, разделяемые научными сообществами*. Культурологические же исследования демонстрируют наличие постоянного движения через границы, якобы отделяющие научные сообщества (в частности, их язык и нормы) от остальной культуры. Бруно Латур броско выразил это представление об открытости научной деятельности, заявив, что она сама эффективно дестабилизирует любые разграничения между тем, что находится внутри и вне науки, или между научной и социальной сферами (см. [38, с. 141—170] и [39]).

Важно понять, что движение через границы, воздвигнутые между наукой и обществом, — всегда двухстороннее. Сейчас я намереваюсь обратить внимание на то, каким образом научная деятельность постоянно получает подпитку и воздействие со стороны «внешней» культуры. Движение в этом направлении включает, среди прочих вещей, поиск и получение учеными материально-технических и финансовых ресурсов, пополнение их рядов и приобретение союзников, а также приток содержательных или значимых вопросов и проблем для исследования, словарного запаса с заключенными в нем метафорами и аналогиями и многого другого. Иллюстрируя сказанное, я хочу привести разнообразные примеры в подтверждение размаха, глубины и обоснованности того, что утверждают культурологические исследования.

Мой первый пример взят из работы Роберта Фридмана [40]. Фридман показал, как в ходе развития исследований атмосферной геофизики Вильгельмом Бьёркнесом (*Vilhelm Bjerknes*), важные *теоретические* черты этих исследований были сформированы специфическим характером их связей с военной и гражданской авиацией, рыболовством и сельским хозяйством. Группа Бьёркнеса отошла от преобладавшего статистическо-климатического подхода к метеорологии, обра-

* См. [34]. К числу ярких примеров работ социал-конструктивистов, акцентирующих сравнительную замкнутость научных сообществ, или форм жизни, относятся книги Гарри Коллинза [35] и Дэвида Блура [36]. Опубликованная в 1981 году книга Карин Кнорр-Цетини «Производство знания» [37], в которой подчеркивалось значение «транс-научных полей», примечательна как раннее отступление от фиксации на научных сообществах.

тившись вместо этого к созданию трехмерных моделей атмосферной динамики. Эти модели выдвигали на первый план образование и перемещение атмосферных зон неоднородности (или «фронтов») — однако возникновение самого представления о последних было обусловлено потребностями авиации и мореплавания, а также предоставляемыми ими возможностями. Авиация нуждалась в гораздо более мелкозернистых и иначе концептуализированных изображениях атмосферных процессов, чем те, которые могла дать господствовавшая метеорологическая теория; наряду с этим, самолеты и дирижабли были незаменимы для получения данных, делавших возможной трехмерную атмосферную геофизику, которая была в состоянии обнаруживать быстро перемещающиеся и резко очерченные зоны неоднородности. Эти связи необходимым образом обусловили внедрение во всей Европе и Северной Америке единой системы инструментов и измерений, построенной на физически (а не феноменологически) значимых единицах, и синхронизированной (безотносительно к тому, насколько единые сроки наблюдений удобны в тех или иных регионах). Большинство ранее практиковавших метеорологов были даже не в состоянии уразуметь новые единицы измерения; без этих изменений, однако, не могло быть знания соответствующих атмосферных характеристик.

Физика высоких энергий может показаться областью, более далекой от специфических социальных интересов и культурных практик, чем метеорология. Однако и здесь культурная и/или политическая соотнесенность может значительно повлиять на характер производимого знания. Как указала Шарон Травек, главным определяющим фактором в работе группы физиков высоких энергий является используемый ею детектор*. Все группы, работающие на ускорителях, получают импульсы или частицы с одного и того же пучка лучей, однако специфика производимого ими знания зависит от детектора, который они ставят на пути этого пучка. В Соединенных Штатах детекторы недолговечны, и требуется постоянная подчинка, чтобы они оставались на самом острие научно-технических достижений без привнесения неустранимых помех в данные или чрезмерных затрат средств и времени на их функционирование. Физики-экспериментаторы сами делают детекторы (и переделывают их), дабы добиться и минимизации помех, и желаемой точности снимаемых показаний. В Японии, однако, такой подход оказывается невозможен: финансирование физики высоких энергий привязано здесь к корпорациям, и физики лишь задают в общих чертах расчетные характеристики детектора, который потом изготавливается промышленными фирмами и не может быть переделан «кустарно». Как отмечает Травек, эти чрезвычайно дорогие механизмы со сложнейшими компонентами должны затем использоваться в течение долгого времени. Если в Соединенных Штатах физик, как правило, будет работать с несколькими поколениями детекторов, то в Японии детектор переживет несколько когорт физиков, чьи профессиональные карьеры пройдут в работе с одним и тем же прибором. Эти различия значительным образом влияют на характер вопросов, которые могут ставиться в процессе исследования, а также на важнейшие характеристики хороших результатов.

Мой третий пример взят из работы Донны Харауэй. Она продемонстрировала резкую трансформацию в 1940-е и 1950-е гг. метафор, оформлявших характер исследований и интерпретацию их результатов в нескольких областях биологии — особенно в эволюционной теории, генетике, биологии развития и иммунологии. Харауэй описывает этот процесс как «трансформацию дискурса от рассуждений о физиологических организмах, управляемых иерархическим, соотнесенным с полом, разделением труда и принципом гомеостаза, к рассуждениям о кибернетических технологических системах, управляемых принципами техники

* В обсуждении этого примера я опираюсь на ее книгу [33].

связи» [41, с. 245]. Харауэй связывает и теоретические, и экономические источники этих преобразований в основных областях биологической науки с сопряженными с войной разработками в области исследования операций и управления трудом; а интеллектуальная убедительность новых метафор, по ее мнению, была в определенной степени связана с происходившими тогда преобразованиями в экономике и культурных репрезентациях сущности индивидуального бытия. В науке подобные метафорические структуры имеют чрезвычайно важное эпистемологическое значение, особенно в связи с их ролью в оформлении развития последующих исследований. Они способствуют определению того, какого сорта вопросы считать интересными, и какого сорта ответы на них — интеллигибельными.

Следует особенно подчеркнуть переплетенность научного знания с культурными конструкциями (интерпретациями) «пола» (*sex*) и «рода» (*gender*), ибо эта тема очень сильно повлияла на формирование культурологических исследований науки. Некоторые случаи переплетения науки и культурных конструкций рода сегодня уже не должны казаться чем-то удивительным (хотя и с их признанием не обошлось без споров!). В самом деле, можно ли было ожидать, что исследования влияния эндокринных факторов на половые различия в поведении или способностях, или эволюционные объяснения родового различия не попадут под воздействие культурных конструкций рода? Подобным же образом, принимая во внимание эпистемологическую важность и культурную многоплановость такого феномена, как общественное доверие к ученым, было бы удивительным, если бы и здесь эти конструкции не имели значения. В связи с этим я приведу два примера, более косвенным образом иллюстрирующих тему открытости науки.

Первый из них взят из работы Эвелин Фокс Келлер. Ее недавние исторические изыскания касались культурных аспектов воцарения молекулярной биологии на присущее ей сегодня центральное место в системе биологических наук. Проследивая этот процесс — от восторгов Мюллера по поводу аналогий между вызванными им при помощи рентгеновского излучения генетическими мутациями и предпринятой Эрнестом Резерфордом бомбардировкой атомных ядер альфа-частицами («Мутация и Трансмутация — вот два краеугольных камня радужных мостов, которые приведут нас к могуществу!»*), и до характерного для молекулярных биологов отождествления молекул ДНК с «секретом жизни», посредством которого «соотнесенность с тем, что „плоть-и-кровь“, символически упраздняется» [43, с. 187], — Келлер доказывает, что репрезентация учеными *важности* молекулярной биологии была мощно нагружена конструкциями рода. Она любопытным образом связывает те способы, которыми ученые стремились обосновать центральное значение своей работы в ряду биологических наук, с глубоко пронизывающими культуру мифами о «рождении мужей» и «втором рождении». Что здесь оказывается важным — это не специфическая роль, которую молекулы ДНК играют в наследственности, но «родо-нагруженная» (*gendered*) значимость специфических исследовательских программ в биологии сравнительно с другими элементами биологических (и физических) наук.

Пример совершенно другого сорта представляет недавно предпринятое Донной Харауэй обсуждение содержания журнала «*Science*» [44]. Принято считать, что смысловая компонента этого официального издания Американской ассоциации содействия развитию науки (*American Association for the Advancement of Science*) заключена в публикуемых в нем статьях, письмах в редакцию, сообщениях о новостях научной жизни и комментариях, однако почти четверть фактического объема журнала, по моим подсчетам, бывает обычно занята рекламными объявлениями. Уже один этот факт внушает мысль об экономической важности науч-

* Цит. по: [42, с. 397].

ного оборудования. Что же касается Харауэй, то она исследовала не что иное, как арсенал образов, используемых в этих рекламных объявлениях для достижения впечатляющего эффекта. В своих разнообразных проявлениях — будь то кролик за клавиатурой компьютера, уставившийся на свое графически сконструированное изображение на дисплее («Несколько слов о размножении из уст признанного лидера в этой области»), или ученый мужского пола, кормящий из бутылочки обезьяну ночью в лаборатории, или же продукт дюпоновской геновой инженерии: лабораторная мышь с активными онкогенами («Торговая марка Онкомышь») — юмор и образы этих рекламных объявлений представляют утонченные (или не столь утонченные) вариации на темы культурных эпик «рода и рождения», «происхождения и спасения», «чистоты и осквернения», «природы и культуры». Эти рекламные объявления возбуждают сложные вопросы об аудитории, для которой они предназначены, и о смыслах, воплощенных в используемых ими образах, — и они напоминают нам о том, что научное знание есть нечто большее, чем всего лишь тщательно высушенная проза канонического журнального сообщения.

Реализм и ценностная нейтральность: подрыв вопросов

Последние две черты культурологических исследований, на которых я хочу остановиться, тесно связаны между собой. Культурологические исследования занимают скорее подрывную, нежели антагонистическую, позицию по отношению к некоторым давним философским вопросам о науке (касающимся, например, реализма и ценностной нейтральности): они ставят под вопрос саму формулировку этих вопросов, вместо того, чтобы предложить некую альтернативу имеющимся традиционным ответам. Этот подход, в свою очередь, тесно связан с тем местом, которое занимает в культурологических исследованиях науки эпистемологическая и политическая критика. Культурологические исследования не поддерживают ни предпринимаемые философами попытки глобальной легитимизации науки, ни свойственное многим социологам науки стремление описывать науку, при этом вынося за скобки или релятивизируя любую критическую оценку последней.

Реализм — это точка зрения, согласно которой наука стремится (и часто безуспешно) к построению теорий, которые верно изображают, как устроен мир — независимо от человеческих категорий, способностей и вмешательств. Социал-конструктивисты обыкновенно отвергают реализм по двум пунктам: они утверждают, что, во-первых, мир, описываемый наукой, сам по себе социально конституирован, и, во-вторых, цели науки, занимающейся описанием этого мира, могут быть социально специфицированы (удовлетворение интересов, поддержание институтов и практик и т. д.). Позицию же культурологических исследований науки, напротив, было бы правильнее представить как отрицающую и реализм, и различные формы антиреализма (включая социал-конструктивизм)*. Как реалисты, так и антиреалисты берутся объяснить содержание научного знания, — либо его причинными связями с реальными объектами, либо социальными взаимодействиями, которые определяют это содержание, — причем и те, и другие исходят из одной и той же предпосылки, что имеется некое фиксированное «содержание», подлежащее объяснению. Как естественнонаучные реалисты, так и антиреалисты исходят из *семантического* реализма — т. е. из предположения, что существует уже установленный «твердый факт» о том, что «говорят» о мире наши теории, концептуальные схемы или формы жизни. Интерпретация

* В 5-й главе моей книги [17] приводится расширенная аргументация в опровержение как реализма, так и эмпирицистской и конструктивистской форм антиреализма, основанная на минималистской, или «дефляционной», концепции истины.

должна где-то иметь свое завершение, настаивают они, — если не в мире независимо (от нас) существующих реальных объектов, то в языке, концептуальной схеме, социальном контексте или культуре.

В противоположность этому культурологические исследования полностью отвергают дуализм схемы и содержания, или контекста и содержания. С их точки зрения, не существует определенной схемы или контекста, которые могут раз и навсегда зафиксировать содержание высказываний, а значит, нет и никакой возможности выйти за пределы языка. То, как та или иная теория или практика интерпретирует мир, само оказывается неизбежно открытым для дальнейших интерпретаций, авторитетность которых исчерпывается тем, что, кем и когда высказывается*. Из этой позиции вытекают по крайней мере два важных следствия, отличающие ее от социал-конструктивизма. Во-первых, для культурологических исследований оказывается вполне возможным отзываться о тех или иных утверждениях как истинных, ибо «истина» есть семантическое понятие, которое никогда не выводит нас за пределы языка: сказать, что «*p* — истинно», означает не более (но также и не менее), чем сказать «*p*». Во-вторых, эта позиция разрушает границы между культурологическими исследованиями науки и научными практиками, которые они изучают. Культурологические исследования предлагают интерпретации научных практик, в том числе тех текстов и высказываний, которые зачастую «выдаются» последними; но научные практики и сами оказываются уже вовлечены в подобные интерпретации — посредством цитирования, повторения, критики или углубления прошлых практик. Как указал Артур Файн, «если наука — это представление, то это такое представление, в котором играют и публика, и труппа. Ремарки, касающиеся интерпретации, также являются частью действия. Если имеются вопросы или предположения по поводу смысла той или иной вещи, или ее назначения, то для них есть место и в постановке. Вдобавок сценарий никогда не бывает завершен, и никакой прежний диалог не может жестко предопределить будущее действие. Не допуская никакого всеобъемлющего, глобального прочтения или интерпретации, это представление нащупывает свои собственные интерпретации в локальном порядке по ходу своего развития» [47, с. 148]. Прочтения-интерпретации культурологических исследований являющихся, таким образом, частью культуры науки, а не ее объяснением или интерпретацией «извне». В практике интерпретации науки границы между «внутренним» науки и «внешним» ей, ее «центральные» и «периферические» области сами всегда являются предметом спора, а вовсе не чем-то заранее установленным. Сказать это — не значит сказать, что все интерпретации надо уравнивать друг с другом, — ибо некоторые из них считаются релевантными, серьезными и важными, а другие таковыми не считаются. Скорее, это значит сказать, что само то, какие именно интерпретации оцениваются таким образом, и когда и где это происходит, является одним из предметов спора в непрерывно идущем процессе интерпретации.

Таким образом, то, что я раньше назвал «открытостью» научной деятельности, оказывается здесь весьма релевантным. Как интерналистская история и философия науки, так и социал-конструктивизм, стало быть, заблуждаются, стараясь раз и навсегда определить то, что относится «по существу» к установлению истины, — будь то научные доводы и факты, истолкованные в узком смысле, или же «социальные факторы». Определение истинности научного утверждения не может быть обособлено от тех разнородных соображений, которые вообще оформляют его в качестве утверждения истины — т. е. утверждения, которое является интеллигибельным, несет значение, оказывается в состоянии выдержать

* Подробное обсуждение развиваемых здесь представлений о смысле (интерпретации) и истине см. в [45, с. 477—494], [46, с. 197—217], а также [17, гл. 5].

(варьирующееся) бремя доказывания и соотнобразуется с разными другими практиками и утверждениями.

Культурологические исследования стремятся также и к подрыву вопросов о том, является ли (или должна ли) наука быть ценностно-нейтральной. Традиционные обсуждения вопроса о ценностной нейтральности (понимаемого как один вопрос) превращают понятие «ценности» в некий монолит — подобно тому, как в дискуссиях о реализме прослеживается тенденция превратить в монолит понятие «истины»*. Однако, как только что было указано, вопросы об истине неминуемо переходят в множественные вопросы о значении, релевантности, интеллигибельности и бремени доказывания. Подобным же образом, как недавно продемонстрировал Роберт Проктор, «вопрос» о ценностной нейтральности — это не один, а много вопросов [49]. Работа Проктора, таким образом, задает культурологическим исследованиям важную тему — установить историческое и культурное местонахождение самого представления о научных исследованиях и знаниях как свободных от ценностей.

Своей известностью термин «ценностная свобода», бесспорно, обязан влиянию Макса Вебера. Однако, как показал нам Проктор, ирония судьбы этого термина состоит в том, что главной заботой Вебера было не воспрепятствовать ценностям влиять на науку, а обратное: предпринятая им защита *Wertfreiheit* была критикой сциентизма. Но под этой же самой рубрикой нашли свое выражение и другие важные заботы. Перед лицом нацистской пропаганды расовой и национальной науки или неприятия менделевской генетики советской коммунистической партией, понятие ценностной свободы, или нейтральности, нерешительно выдвигалось как аргумент против политической цензуры науки (нерешительно, ибо использование этого аргумента наводит на мысль, что наука не является всецело и непреложно свободной от ценностей — а если так, то нет ничего неуместного в том, чтобы подвергать ее политической цензуре). Столь же нерешительно понятие ценностной свободы приводилось как возражение против изгнания ученых на основании их родовой, расовой, национальной, или политической и религиозной принадлежности. В совершенно ином амплу представление о «ценностной свободе» использовалось для проведения сомнительных разграничений между теоретическими и прикладными, или фундаментальными и «ориентированными на производство» исследованиями. Разумеется, те ученые (и их работодатели), чья работа является прикладной или ориентированной на производство в соответствии с любым вразумительным критерием, без колебаний прибегали к легитимизирующему понятию ценностной свободы.

Свобода от ценностей приписывается не только науке, но и природе. В этом случае мы встречаемся с характерным для Нового времени представлением о «разволшебственной вселенной», отрицающим упорядоченный космос, а также с критикой виталистских и телеологических взглядов в биологии. Это употребление понятия ценностной свободы находится в прямом противоречии с частым использованием научной работы для обоснования или, напротив, дискредитации ценностей (примером могут служить споры вокруг социобиологии). Однако для нас сейчас важно то, что разнообразные представления о природе как лишенной волшебства и науке как свободной от ценностей являются для культурологических исследований важным, имеющим богатую и противоречивую историю, предметом обсуждения — но не их концептуальной основой.

* Ошеломляющую неспособность увидеть эту параллель демонстрирует Стивен Стич (*Stephen Stich*) в своей книге «Фрагментация разума» [48]. Убедительно аргументировав, что любая попытка жестко установить содержание понятия «истины» потенциально вбивает клин между утверждением «„р“ — истинно» и основаниями убежденности в «р», он принимает позицию культурного плюрализма в отношении разума, ссылаясь при этом на ценности, которые задают объекты устремления тех или иных индивидуумов или культур, однако не замечая, что совершенно аналогичная аргументация может быть приведена в пользу фрагментации понятия «ценности».

Политическая и эпистемическая ангажированность культурологических исследований

Эти обсуждения понятий «истины» и «ценности» приводят нас к последней теме, взятой мною для характеристики культурологических исследований науки. Социал-конструктивисты часто настаивают на том, что они просто *описывают* те способы, посредством которых осуществляется социальное производство научного знания, вынося за скобки любые вопросы, касающиеся его эпистемического или политического значения. В этом отношении их работа принадлежит к традиции, постулирующей свободу от ценностей в качестве научного идеала. В противоположность этому представители культурологического направления демонстрируют более сильное рефлексивное осознание собственной культурной и политической ангажированности и, как правило, не воздерживаются от эпистемической или политической критики. Они считают, что нормативные вопросы неминуемо оказываются предметом споров как в науке, так и в ее культурологических исследованиях, полагая эти вопросы возникающими и локально, и в порядке рефлексии. С их точки зрения, невозможно не быть политически и эпистемически ангажированным.

Два примера того, как определяется бремя доказывания в работах по СПИДу, проиллюстрируют мой тезис и подчеркнут высказанное ранее утверждение, что культурологические исследования науки в конечном счете составляют континуум с рефлексивной практикой самой науки. Как отметили в своих работах Паула Трайклер и Синди Пэттон (*Cindy Patton*), специалисты по ретровирусам уверенно заявляли, что некая изолированная ими последовательность РНК является «СПИД-вирусом», или «причиной СПИДа», задолго до того, как было установлено что-либо о ее специфической роли на всех этапах клинического развития болезни, или о присутствии или отсутствии кофакторов [50—51]. Представляется, что в нынешней научной атмосфере бремя доказывания ложится на оппонентов точки зрения, которую Эвелин Фокс Келлер охарактеризовала как объяснение биологических явлений «от ключевых молекул»; соответственно, различаются и предъявляемые к первым и вторым требования в отношении характера доказательства и степени доказанности [52, гл. 8]. Подобным образом, получившая широкий размах дискуссия об «африканском происхождении СПИДа», отвечала — в силу важных исторических и политических причин — менее строгим критериям доказательства, нежели другие заявления по поводу его эпидемиологии. Соображения Трайклер и Пэттон по каждому из этих случаев не являются ни некритическими описаниями того, как в науке распределяется бремя доказывания, ни элементом глобального релятивизирования научной аргументации; напротив, они представляют собой обстоятельную критику и того, как распределяется бремя доказывания, и вытекающих отсюда последствий, — критику посредством интерпретации того, как это бремя сложилось исторически. Тезис этих авторов состоит не в том, что следует отвергать научные утверждения в силу экстранаучных причин, но в том, что в определенные моменты требуется реконструировать локальные стереотипы научной аргументации и отношения релевантности научного знания.

Критическая позиция, предлагаемая такими культурологическими исследованиями, — это не позиция эпистемической суверенности, которая будет давать науке и культуре предписания, основываясь на том, что ей-де известны подлинные факторы, объясняющие научное знание исчерпывающим образом. Напротив, место культурологических исследований — внутри непрекращающихся конфликтов по поводу знания, власти, идентичности и возможностей для тех или иных действий. Вся критическая проницательность и эффективность, которая может у них быть, проистекает из их восприимчивости к резонансам и напряжениям между тем, что я назвал группировками и контргруппировками, формирующими

эпистемическую ситуацию*. Эпистемическая группировка представляет собой динамический и неоднородный массив практик, объектов, а также сообществ, или связывающих их отношений солидарности, — которые поддерживают, притягивают к себе или наращивают друг друга, и посредством этого конституируют знание. Культурологические исследования являются *рефлексивными* попытками усилить, трансформировать или реконституировать существующие группировки или контргруппировки, помещая их в новые исторические и географические контексты.

Ключевые различия между нормативными установками социал-конструктивизма и культурологических исследований науки могут быть проиллюстрированы сжатыми формулировками наиболее видных представителей этих течений. Тревор Пинч видит «задачу для социолога в том, чтобы отведать и уловить кое-что из „жизненного мира“ ученого-естественника — те сами собой разумеющиеся обыденные практики и интерпретации, которые делают доступным природный мир» [54, с. 19]. Цель такого «улавливания» — в том, чтобы перестроить властные отношения между дисциплинами. По словам Коллинза и Йерли, «социология научного знания хочет использовать науку для того, чтобы ослабить позиции естественных наук по отношению к наукам общественным.... Мы хотим, чтобы все культурные предприятия виделись равными по своему научному потенциалу» [20, с. 383]. Поучительно сопоставить эти высказывания с тем, как видится Донне Харауэй мирозерцание культурологических исследований: «Феминист(к)ам приходится настаивать на лучшем описании мира; недостаточно просто продемонстрировать полновластие случайности в истории и способы конструирования всего на свете.... [Поэтому] „наша“ проблема — в том, как *одновременно* иметь представление о радикальной исторической случайности, касающееся всех познавательных утверждений и познающих субъектов, придерживаться критической практики для осознания наших собственных „семиотических техник“ создания смыслов, а также быть строго приверженными правдивым изображениям „настоящего“ мира — мира, который может быть отчасти разделяемым с другими людьми и дружественным к общеземным перспективам конечной свободы, удовлетворительного материального достатка, умеренного смысла в страдании и ограниченного счастья» [55, р. 187].

Полемически выражая расхождение между двумя направлениями, можно сказать, что социал-конструктивизм выступает против культурного авторитета, на который притязают естественные науки, однако устранивается от критики научных практик. Культурологические исследования переворачивают эту установку: они стремятся участвовать в построении авторитетного знания о мире, критически вовлекаясь в смыслообразующие практики наук.

Перевод с английского А. Ю. Стручкова

Список литературы

1. Mannheim K. Essays on the Sociology of Knowledge. L., 1952.
2. Merton R. The Sociology of Science: Theoretical and Empirical Investigations. Chicago, 1973.
3. Bernal J. D. The Social Function of Science. Cambridge, Mass., 1967.
4. Bernal J. D. Science in History. Cambridge, Mass., 1954.
5. Wersky G. The Visible College. N. Y., 1978.
6. Polanyi M. Personal Knowledge. Chicago, 1958.
7. Fuller S. Social Epistemology and the Research Agenda of Science Studies // Science as Practice and Culture / Ed. by A. Pickering. Chicago, 1992.
8. Collins H. and Yearley S. Epistemological Chicken // Science as Practice and Culture / Ed. by A. Pickering. Chicago, 1992.

* См.: [53, с. 658—665], а также [11].